Юрий Казарин

СТИХОТВОРЕНИЯ

Золотая библиотека
«Русского Гулливера»
том I

Юрий Казарин

Стихотворения

НП «Центр современной литературы»

Казарин Ю.

Стихотворения / Ю. Казарин — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-165-2

Юрий Викторович Казарин родился в 1955 году в Екатеринбурге. Работал на Уралмашзаводе, служил на Северном флоте. Окончил филологический факультет УрГУ. Автор нескольких книг стихотворений, научной прозы, эссеистики и толково-идеографических словарей (в соавт.). Стихотворения публиковались в российской и зарубежной литературной периодике. Доктор филологических наук, профессор УрФУ. Живёт в деревне Каменка на реке Чусовой. В издательстве «Русский Гулливер» выходили книги стихотворений Юрия Казарина «Каменские элегии» (2012) и «Глина» (2014), а также сборник статей, очерков и эссе «Культура поэзии» (2013).

ISBN 978-5-91627-165-2

© Казарин Ю.
© НП «Центр современной литературы»

Содержание

Каменские элегии 7
Из первой книги 7
«Ворохнётся в окне ветка…» 7
«Неба всё больше, мало…» 7
«На читку воздуха едва ли…» 8
«В пепельнице окурок…» 8
«Отвернувшись к стене…» 8
«Глазам хватает неба и земли…» 9
«Утки летят на восток…» 9
«Дурачок, дурачок…» 9
«Сухая гроза – что в завязке алкаш…» 10
«Птицы – в прошлое, в лето, на юг…» 10
«Деревня дымом в смерть заехала…» 11
«О, Господи, не умирай…» 11
«Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу…» 11
«Уже зима вбивает в землю гвозди…» 11
«Взгляд остановлен птицей…» 12
«Сорока на столбе…» 12
«У куницы…» 12
«Деревня пустила…» 13
«Проснёшься ночью – света нет…» 13
«Почти отмучившись, отмучив…» 13
«Земное притяжение с ума…» 14
«Ты легко поднимешь руку…» 14
«Собака плавает в пруду…» 14
«Поговоришь с водой…» 15
«Режет глаза в окошке…» 15
«Как долго лошадь пьёт из лужи…» 16
«Уши, особенно мочки…» 16
«Трава сказала – умираю…» 16
«А смерть осиной…» 17
«В воду врастают ноги…» 17
«Волынки плач овцы. Грамматика двойная…» 17
«Всё больше интонации, тумана…» 18
«Шёпотом дождь поёт. Значит, вот-вот зурна…» 18
«Снег в форме машины едет издалека…» 18
«Ты откуда, сигаретный…» 19
«Поздняя осень. В пейзаже…» 19
«Упираясь лбом в звезду…» 19
«Ты знаешь изначально…» 19
«Ангелы легче снега…» 20
«Пуговицу смахнуло…» 20
«У кукушки всего одно слово…» 20
«Что наши мысли? – бред природы…» 21
«Воробьи склевали пайку…» 21
«От неба, и огня, и от воды глубокой…» 21

Из второй книги 23
«Сколько времени там на весле…» 23
«Пахнет ладонь сосной…» 23
«Кто-то в печной трубе…» 23
«Меж безднами двумя…» 24
«Запомнишь ли – не мысль, не звук…» 24
«Кто-то спросил: – Ну, как?..» 24
«Переведи меня…» 25
«Дождик чует наготу…» 25
«Плачет коза, поднимаясь в горку…» 25
«Ходит музыка по коже…» 26
«Эта собака не для езды…» 26
«Позолоченная стружка…» 27
«Эти пальцы, веки эти…» 27
«Медленно, медленно ваза…» 27
«Что-то ещё я хотел… Никак…» 27
«Мороз проницаем и розов…» 28
«Зима в деревне холоднее…» 29
«Погладил печь – спадает жар…» 29
«В морозы горький свет: в деревне пахнет дымом…» 29
«В полуслезах, в полубреду…» 30
Из цикла «Елене» 31
I 31
II 31
VII 31
VIII 32
IX 32
XI 32
XIV 33
Из третьей книги 34
«Я знаю эту дрожь…» 34
«Где-то глаза кочуют…» 34
«Где очень больно, там светло…» 34
«В стену горох, в стену горох…» 35
«Стукнет с небес дубинка…» 35
«Сад напросился в дом…» 35
«К вечеру, пустившему слюну…» 36
«Всюду Господа белые брови…» 36
«Ходит шатун-трава…» 37
«Плачет кулик, плачет кулик…» 37
«Птичка серая скажет мне…» 37
«Так пасмурно, что нету небосклона…» 38
«Нежнее инея в зверином ухе…» 38
«Маленький человек…» 38
«Буду водой стоять…» 39
«Ты в воду посмотришь – потом из воды…» 39
«Живой и мёртвый, с вечностью во рту…» 39
«Под крышкой пусто. Нет, под нею…» 40
«Зимы короткий век…» 40

«Есть нитка золотая, есть игла…» 40
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Юрий Казарин
Стихотворения

Каменские элегии

Из первой книги

«Ворохнётся в окне ветка…»

Ворохнётся в окне ветка.
Я бываю с тобой редко
на земле. Чаще в дереве, в небе
я брожу, позабыв о хлебе,
о себе, о погоде, или
пропадаю в речном иле,
сквозь высокую воду пройдя
без дождя.
Потеряю в паденье лицо, руки,
стану частью твоей округи,
на окне твоём отпечатки
пальцев выставлю в Рождество:
тополь в инее, как в перчатке,
если палкой не бить его…

«Неба всё больше, мало…»

Неба всё больше, мало
суши осталось, тверди.
Жизнь наконец совпала
с тем, что коснётся смерти.

Снег и земля друг другу —
в лоб, в мозжечок метели:
кажется, что по кругу,
в сердце – на самом деле.

Все-таки скорость взгляда —
это не скорость птицы,
а намерзанье сада
на острие ресницы.

Медленный взгляд оттуда,

где умирают звуки,
где происходит чудо
прямо из этой муки.

«На читку воздуха едва ли…»

Е.

На читку воздуха едва ли
мне хватит этих смертных уст:
откроешь фолиант рояля —
он пыльной музыкою пуст.

Он как раскрытое жилище,
чердак, где плакала метла,
как снегопад и пепелище,
не выгоревшее дотла.

Как дом, не купленный в деревне,
где ночью рвутся провода
с душой, готовой к перемене
не мест, а места навсегда.

«В пепельнице окурок…»

В пепельнице окурок,
в небе кусок луны.
Тысячу слов, придурок,
вытянешь из стены.

Спи, говорю, покуда
счастья на свете нет:
мучает этот свет.
значит, иное чудо

«Отвернувшись к стене…»

Л. К.

Отвернувшись к стене,
чтобы прямо сказать стране:
ненавижу тебя, но не
умирай, оставайся во мне,
словно небо, растущее вне

понимания неба; в вине
не тони, не куражься в огне
стужи, ужаса и, к стене,
но с другой стороны – в окне —
отвернувшись, прижмись ко мне.

«Глазам хватает неба и земли…»

В. Б.

Глазам хватает неба и земли:
посмотришь вдаль – и плачешь там, в дали.
Прошли по берегу коровы,
оставив в пёстрой наготе
себя гравюрой на воде:
вода из неба гнёт подковы
для первых заморозков, где
опавших волн сухая лепка
уже идет секунды три,
и пахнет снег, как божья кепка,
наверно, пахнет изнутри.

«Утки летят на восток…»

Утки летят на восток,
изображая кусок
времени, наискосок
от бесконечного света,
озера, ока, поэта,
выстрелившего из лета
осени в правый висок.

Уток, наверно, с пяток,
а присмотреться – четыре
выгнулись, как локоток

музы, которая в срок
держит последний урок
на леденеющей лире…

«Дурачок, дурачок…»

Дурачок, дурачок,

отпусти домой зрачок
с неба семидонного,
людям похоронного,
или неба сродного,
для любви пригодного,
неба золотого,
как большое слово
с буковкой бу-бу,
с молнией во лбу
да с душой-обузой,
с птичкой белопузой —
ласточка пять раз
поцелует глаз,
ясный, бестолковый,
к темноте готовый,
коли белый свет
съели на обед…

«Сухая гроза – что в завязке алкаш…»

Сухая гроза – что в завязке алкаш.
С утра обезвожены поры позора.
Рыданье подробно, как горный пейзаж,
увязший в кириллице, где карандаш,
себя истирая в леса и озёра,
иную грозу помещает в шалаш
на вечную вязку то мысли, то взора —
в безумие неба, в морщины узора
и в глухонемое мычание хора,
когда за слезу всё на свете отдашь.

«Птицы – в прошлое, в лето, на юг…»

Птицы – в прошлое, в лето, на юг,
а листва, отбиваясь от рук
и ветвей, на единственный круг
отрывается перед ночлегом
между голой землёю и снегом.

В лёгком солнце замешкался дрозд —
взятки глаз ослепительно гладки,
и дыханья шальные лошадки
распускают по воздуху хвост.
По ночам выпадают осадки
в виде звёзд…

«Деревня дымом в смерть заехала…»

Деревня дымом в смерть заехала,
где, снежный хлебушек кроша,
мерцает бездна, словно зеркало,
когда в него глядит душа.

Где иней звёзд ерошит брови,
в глазах закрытых карта крови
во тьме с небесной совпадет —
никто сегодня не умрёт…

Никто сегодня не умрёт.

«О, Господи, не умирай…»

О, Господи, не умирай
своих животных и растений
и не вперяй без потрясений
тяжёлый, нежный ад осенний
в мерцающий и мёртвый рай.

«Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу…»

Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу,
нужен мальчик-заика и ножик,
и река, и чтоб небо щипало в носу,
и пыхтел под рябинами ёжик.

Скоро дождик равнине вернёт высоту,
в одуванчике высохнет ватка.

После ивовой дудочки горько во рту,
после ивовой музыки сладко.

«Уже зима вбивает в землю гвозди…»

Уже зима вбивает в землю гвозди
и сердце из небесной полыньи
вздымает, как рябиновые грозди

над пустотой. О, ягоды мои!..

Жемчужный лёд растёт с ветвей – без створок,
бесстыжий свой показывая стыд.
Мне снится море. И оно шумит
в моей земле, где ночь и минус сорок.

И Млечный путь себя сгущает в твóрог,
или в творóг, как Иов говорит.

«Взгляд остановлен птицей…»

Взгляд остановлен птицей.
Господи, стрекоза…
Небо кольнёшь ресницей —
Что это? Чья слеза?

Вечность – простое чудо:
видишь меня, вода?
Скоро и мы оттуда
будем смотреть сюда.

«Сорока на столбе…»

Сорока на столбе.
Ну что ещё тебе
сказать, когда в окошко
смотрю: вот куст, вот кошка.
Как время вдоль воды
то пятится, то длится.
Вот человек, вот птица
и на воде следы.
И, как заведено,
скользит с небес пшено
по лунному осколку
из рук – из первых, но
невидимых, поскольку
кончается окно.

«У куницы…»

У куницы
короткие ресницы,

как у кошки,
а ещё блошки,
чтобы почесать
укушенное место, а потом, мать
твою за лапку,
взяв себя в охапку —
спать
и в себе свои сны обнимать:
сломанную охотничью лыжу,
на реке ледяную грыжу —
прорубь, над рекою крышу
прозрачную – видно рыбку,
она держит себя, как скрипку,
упирается в глубину,
исполняя во сне улыбку
и крещенскую тишину.

«Деревня пустила…»

Деревня пустила
белые корни в небо.
Знать, замесила
квашню для стряпни и хлеба.
Принюхивается небо
стужей, звездой железной
к жизни над бездной…

«Проснёшься ночью – света нет…»

Проснёшься ночью – света нет
и не было его,
как будто это новый свет,
иное вещество.
Всё исковеркано ледком —
красивое зато,
как будто кто-то босиком
ходил. Я знаю, кто…

«Почти отмучившись, отмучив…»

Почти отмучившись, отмучив
ночь, косоглазую от слёз,
проснусь и вспомню: снился Тютчев,

и – сажа белая берёз.

Тряхнёт скворец, с бесстрастным глазом,
плечистым пушкинским плащом:
кто долгим прошлым был наказан,
тот будет будущим прощён.

Душа отбрасывает тело,
как дым отбрасывает тень
между луной и светом белым
в его смертельную сирень.

«Земное притяжение с ума…»

Земное притяжение с ума
меня сведёт, наверно, после жизни,
когда в слезах закончится зима
в моей теплеющей отчизне.

Ты топишь печь и плачешь. И нигде
не находясь, я вижу, как со стоном
осина разгорается в дожде,
пылая в зеркале оконном.

«Ты легко поднимешь руку…»

Ты легко поднимешь руку
на прощанье, чтоб рассечь
мир на полную разлуку
и на внутреннюю речь.

Беспризорник бьёт небольно
в створ небесного окна,
и звенит в мяче футбольном
ангельская тишина.

И опущенную руку
дождевая ищет нить,
чтобы музыку и муку
навсегда соединить.

«Собака плавает в пруду…»

Собака плавает в пруду.
Я что-то спички не найду.

Вот сигареты, пальцы, губы,
вот берег, лес, плотина, срубы,
вот неба с ласточкой торец,
и с чёрной удочкой отец

стоит над прудом и в пруду
не отражается, покуда
плывёт собака ниоткуда.
А спички – вот, и это – чудо
в две тысячи восьмом году.

«Поговоришь с водой…»

Поговоришь с водой,
вернее – помолчишь.
И чёрно-золотой
качается камыш.

И чёрно-золотой,
как божьи брови, шмель
под страшной высотой
несет виолончель.

«Режет глаза в окошке…»

Режет глаза в окошке —
это распустится
то ли цветок картошки,
то ли капустница.

Бабочка оживает,
распространяясь в ряд,
мечется, пришивает
к воздуху влажный взгляд.

Всё на живую нитку
сшито – не перешить…

Высмотреть эту пытку.
Выплакать эту нить.

«Как долго лошадь пьёт из лужи…»

Как долго лошадь пьёт из лужи:
сначала ноздри, очи, уши
свои, потом кусок небес
и в кромку врезавшийся лес.

И дождь идёт, у нас бывает —
он лупит вкось по пузырям,
и лужа ноздри раздувает
навстречу розовым ноздрям.

Целуйтесь, два лица природы, —
и жажда жизни, и любовь,
пока несут над бездной своды
вода и кровь, вода и кровь.

«Уши, особенно мочки…»

Уши, особенно мочки,
мёрзнут сегодня с утра.
Мёртвая бабочка в бочке.
Осень, однако. Пора.

Думаешь странные строчки —
Боже, какого рожна:
мёртвая бабочка в бочке —
может, живая она…

«Трава сказала – умираю…»

Трава сказала – умираю,
и в ледяном её аду
я босиком иду к сараю —
как по стеклу в стекло иду.

Похолодало – всё прошло.
Какое счастье жить без чуда.
Какая русская простуда.
Какое мягкое стекло.

«А смерть осиной…»

А смерть осиной
не отдаёт —
сугроб гусиный
сюда плывёт.

С другого брега
по синеве,
хотя до снега
недели две.

Идёт, гогочет
мужичья сыть —
о Риме хочет
поговорить.

Подашь ли голос
по-над водой —
летит, как волос
совсем седой…

«В воду врастают ноги…»

В воду врастают ноги
женщин, овец, берёз.
Слепнут лесные боги
от деревянных слёз.

От оловянных, снежных,
от алюминиевых.
Сколько их было, нежных?
Сколько осталось их?

Чьи это листья, вещи,
наволочка, ночлег?
Это ложится вещий
с неба упавший снег.

«Волынки плач овцы. Грамматика двойная…»

Волынки плач овцы. Грамматика двойная.
И ангелов нытьё и визготня.

Стоять, стоять, очей из тьмы не вынимая,
ступнями отбиваясь от огня.

Волынки детский плач. Печаль полунемая.
Двуспальная железная кровать.
Лететь, лететь, крыло в чернила окуная,
и – белое – из бездны вырывать.

«Всё больше интонации, тумана…»

Всё больше интонации, тумана,
всё меньше слов, как осенью – вдвоём,
как этот подстаканник без стакана:
уже понятен времени объём.

Где виден лес, там в озере прореха —
вернее, в небе, в пазухе его,
где осень остывает, словно эхо
грядущего молчанья твоего.

«Шёпотом дождь поёт. Значит, вот-вот зурна…»

Шёпотом дождь поёт. Значит, вот-вот зурна
вступит и замолчит. Кукла больна. Она

смотрит не из себя, а из земли сквозь нас
в бездну, и вновь в себя – не закрывая глаз.

Пухом земля – земле. Снегом земля – душе.
Хлеб с золотой ноздрёй весь отражён в ноже.

Осень сошла с ума. Осень сошла с ума.
Осень сошла с ума. Значит, уже зима.

«Снег в форме машины едет издалека…»

Снег в форме машины едет издалека,
снег в форме деревьев лесом стоит, пока
снег в форме мужчины ищет в толпе огня
и пролетает мимо в форме тебя, меня,
города и деревни, ветра в моей глуши
белого – в форме снега – шире живой души, —
и переходит в поле, где его из-под век

бездны не проморгает плачущий человек.

«Ты откуда, сигаретный…»

Ты откуда, сигаретный,
коли губы на замок,
мимолётный, неконкретный,
умирающий дымок?
Только ангел в чистом поле
жадно курит разве что
от чужой сердечной боли
в голубой рукав пальто…

«Поздняя осень. В пейзаже…»

Поздняя осень. В пейзаже,
кажется, больше золы,
чем чернозёма и сажи,
если не трогать углы.

Снегом твоим пролетая,
вижу в прореху крыла:
кончилась нить золотая —
белая нитка пошла.

«Упираясь лбом в звезду…»

Упираясь лбом в звезду,
чувствую, как тесно Богу.

В валенках на босу ногу
ночью выйду на дорогу
и уйду…

«Ты знаешь изначально…»

Ты знаешь изначально —
чем глубже, тем больней:
не истина печальна,
а приближенье к ней.

Не бабочек-снежинок
междоусобный дым,
а зренья поединок
с безумием твоим.

«Ангелы легче снега…»

Ангелы легче снега,
это с утра бывает.
Валенок, павший с неба,
в воздухе застревает.
В воздухе над державой —
падает понемногу.
С левой, а может, с правой —
он на любую ногу.
Не на мою, на волчью.
Взвою – и снег раздую,
чтобы увидеть ночью
пяточку золотую.

«Пуговицу смахнуло…»

Пуговицу смахнуло
время с моей рубахи:
что-то её катнуло
с воротника. Как с плахи.

Помнишь ли, переспелая,
пальцы мои и тело
тёплое. Помнишь, белая?
Белая – пожелтела…

Горлу теперь вольготней
воздуха ждать иного
там, где в слюне господней
звук вызревает в слово.

«У кукушки всего одно слово…»

У кукушки всего одно слово,
в котором два одинаковых слога:
один для мёртвого, другой для живого,
а интервал для Бога.

С крыши дождь опускает свёрла.
Два слога. Прореха. Два слога. Прореха. Прореха. Прореха.
Кукушка сама себе горло.
Кукушка сама себе эхо.

Осень. Льёт. Не отыщешь сушу.
Слёз не видно. Читай Басё.
Если захочешь увидеть душу —
просто выдохни. Вот и всё.

«Что наши мысли? – бред природы…»

Что наши мысли? – бред природы,
когда она людьми больна.
Взыскует разум мой свободы,
а мысль – ничтожна и темна.

И бездна ближе в непогоды,
и небо плачет без конца.
И по воде проходят воды,
как призрак призрака Творца.

«Воробьи склевали пайку…»

Воробьи склевали пайку.
Слава богу, я никто.
Поменяю на фуфайку
и перчатки, и пальто.
На фуфайку-невидимку,
чтобы с воздухом в обнимку —
только воздух и никто.

Над обрывом у реки
без смычка услышу чайку.
Словно ангел сквозь фуфайку
веет снегом в позвонки.
У обрыва. У реки.

«От неба, и огня, и от воды глубокой…»

От неба, и огня, и от воды глубокой
очей не отвести с присушенной слезой.

Болит лицо земли, поросшее осокой
по циркулю с кержацкою косой.

Нет на воде лица. Волна. На ней лица нет:
так смотрит с высоты и давит, боже мой,
окрестный взгляд без глаз – и он не перестанет
быть светом или тьмой. Быть светом или тьмой.

Грядущее – с небес, забытое – из хлябей
вычитывать, читать. Из гоголевских стуж
и зноев расплетать огонь, как волос бабий,
до чёрного листа сгоревших «Мёртвых душ».

Очнуться. Умереть. И долго ждать ответа:
кончается ли смерть? – Кончается. Она
не дума и не дым, а остановка света —
прозрачного до аспидного дна.

И, умерев, взойти в утраченное время,
земной короткий век перезабыть спеша,
и знать, что наяву не ястреб и не темя
упрётся прямо в бездну – а душа.

Не пустотою стать, а новой частью взгляда
окружного, когда всё видится, когда
не слёзы принимают форму ада,
а время – форму пламени и льда.

Из второй книги

«Сколько времени там на весле…»

Сколько времени там на весле,
капли две – это горькое чудо:
не успеешь привыкнуть к земле,
как пора закругляться. Отсюда
улетать, потому что зима,
убывать, зависая над телом,
в чём-то белом, наверное, белом
или чёрном, как вечность сама.
Или в чём-то прозрачном, в чём, ах,
нас выносит в небесную дырку.
И – солёные ленты в зубах,
чтобы не потерять бескозырку.

«Пахнет ладонь сосной…»

Пахнет ладонь сосной.
Кто-то умрёт весной, —
чуют иные глины
бездной без сердцевины.
В бездне полно тепла —
вот она подошла
к окнам твоим вплотную,
песню поет блатную,
что не умрёт никто,
так что снимай пальто
и облачайся в ватник.
В небе уже стервятник
к небу стоит спиной —
думает, что сосной
пахнут пила и руки
у мужика, в разлуке
с городом и страной.

«Кто-то в печной трубе…»

Кто-то в печной трубе
делает на губе,
локоть вонзив в колено,

траурного Шопена.

Сажа не горяча,
не горячей плеча —
теплится еле-еле,
но поперёк метели.

Музыка вверх пошла,
сажа её бела,
и не болит колено
у печника Шопена.

«Меж безднами двумя…»

Меж безднами двумя
то лодка, то ресница
качается, стоймя
стоит себе – и длится…

Утешь меня, утешь,
глагол, своим недугом —
своим зияньем меж
значением и звуком.

«Запомнишь ли – не мысль, не звук…»

Запомнишь ли – не мысль, не звук,
не губ гончарную работу,
а исчезающую вдруг
земную ноту.

Чтоб там, где смерть и рождество
ещё в одном – в одном сосуде,
собой расширить вещество,
мерцающее в каждом чуде.

И времени знакомый хруст
не помешает за плечами
услышать полное молчанье
из первых уст.

«Кто-то спросил: – Ну, как?..»

Кто-то спросил: – Ну, как? —
ночью в пустом дому.
Я говорю: – Никак, —
этому никому.

Поздно. Я спать пошёл.
Просто оставлю свет.
И положу на стол
парочку сигарет.

«Переведи меня…»

Переведи меня
с дождя на детский лепет
усилием огня,
душа, сомненье, трепет, —

коль свет на том – другой,
чем свет на этом свете:
не вольтовой дугой
он порождён, а дети
его, во сне взлетев,
вынашивают в синий —
мышлением дерев —
в невероятный иней,
иной в конце концов:
так речь врезает в строфы
и мысли мертвецов,
и голоса голгофы.

«Дождик чует наготу…»

Дождик чует наготу
женщин, улиц и растений,
словно гений, просто гений,
пишет воду на мосту:
пишет, над теченьем стоя,
пишет время золотое
так, что течь невмоготу.

«Плачет коза, поднимаясь в горку…»

Плачет коза, поднимаясь в горку.

Кто-то затеял в лесу уборку.
Осень. В отхожее сыплют хлорку,
чтобы осело. Курю махорку.
Вот на окошке заело шторку.
Стало светлее. Пусть будет так.
Это, наверно, хороший знак:
коршун выписывает восьмёрку…

«Ходит музыка по коже…»

Е.

Ходит музыка по коже.
Серебрится вдоль дорог
что-то медленное. Боже
мой, я тоже одинок.

Ничего. Я умираю.
И, с закушенной губой,
непогода пахнет с краю
азиатского – тобой.

Ты без музыки танцуешь,
смотришь небу прямо в рот.
Трижды воздух поцелуешь —
и собака подойдёт.

«Эта собака не для езды…»

Е.

Эта собака не для езды.
Имя собаки – имя звезды.

Имя собаки – имя цветка
цвета любви и её языка:

Словно от зноя зевнула земля.
Или собака. Собака моя.

Имя собаки – выдох и вдох.
Отчество – Бог.

«Позолоченная стружка…»

Позолоченная стружка.
Ветром выструганный лес.
Заведёт земная вьюшка
злую вытяжку небес.

Чёрный дрозд летит по краю
неба, белого вдали.
Отвыкаю, отвыкаю,
отвыкаю от земли.

«Эти пальцы, веки эти…»

А. Решетову

Эти пальцы, веки эти
онемели в Рождество.
Нет на том, соседнем, свете —
кроме снега – ничего.

Помнят ли при тёмном свете,
как зима вползает в лес, —
птицы, ангелы и дети…
Население небес.

«Медленно, медленно ваза…»

Медленно, медленно ваза,
выпав из левого глаза,
бьётся. На звук и на свет
вся распадается. Нет,
и на цветы, и на воду,
на пустоту и свободу
полного небытия…

Вечная ваза моя.

«Что-то ещё я хотел… Никак…»

Е.

Что-то ещё я хотел… Никак.
Впрочем, уже не важно.
Знаешь, душа возмужала так,
что умирать не страшно.

Стужа слепила пяток ресниц
в свет, в ледяную ржавость,
чтоб не забыть перезябших птиц,
чтобы слеза держалась.

«Мороз проницаем и розов…»

Дождю со снегом

Мороз проницаем и розов,
но горек расплывчатый вид,
где призрак семи паровозов
дымит в деревеньке, дымит.

И некому утром приехать,
и дров остаётся в обрез,
чтоб выдуть алмазную перхоть
из оцепеневших небес.

И водку ласкают селяне,
и стужей душа восстаёт,
когда переходит сиянье
в зияние снежных высот.

И зябнет у жизни запястье —
до смерти: в канун Рождества
сшибаются страшные части
божественного вещества.

И смерть наполняет значеньем
всё, что не уносит с собой:
то музыку точит мученьем,
то бред возвышает мольбой.

Чтоб выйти из сердца, когда
в своём одиночестве тёмном
иголками сыплет вода
в сосуде мороза огромном.

И космос сжимается в дом
узлами сосны: спозаранку
он вывернет снег наизнанку —

и трогает прорубь ведром…

За богом случается бог,
он тоже не может без бога.
И неба хватает на вдох
и даже на выдох немного.

«Зима в деревне холоднее…»

М. Никулиной

Зима в деревне холоднее:
в сугробах бездна, леденея,
сухим огнём отражена.
Какая близкая она.
Живу в деревне – прямо в небе,
о боге думаю, о хлебе.
И ангелы средь бела дня
с рябины смотрят на меня.

«Погладил печь – спадает жар…»

Погладил печь – спадает жар.
Я глину мял и плакал ночью,
и на плечах всю ночь держал
округу волчью.

Распеленай меня. Темно
под коркой глины, льда и хлеба
тому, что делает окно
необходимой частью неба.

«В морозы горький свет: в деревне пахнет дымом…»

Е.

В морозы горький свет: в деревне пахнет дымом,
и на веранде пыль алмазная, когда
вдруг разорвёт бутыль, а воздух невредимым
останется стоять, как в проруби вода.

Без бабочки твой взгляд слоится и порхает —
повсюду снегопад, паденье и полёт.
Но время – это свет, и он тебя вдыхает.

Но вечность – это тьма: она тебя умрёт.

Тесня звезду зрачком, поймёшь в краю убогом:
что, именем своим, пройдя сквозь языки,
Бог остаётся быть двунадесятым богом,
вдувающим озноб в живые позвонки.

И варежку прожжёт алмазная присыпка,
и валенок уйдёт в замёрзший материк.
Когда шагаешь, снег кричит – ещё не скрипка,
и даже на бегу звучит – уже не крик.

На окнах, на садах – повсюду белый дёготь, —
любовь моя слепец, любовь моя беглец:
ей только обнимать, искать, ласкать и трогать,
и очи закрывать всему, что не слепец.

С фонариком луна и ангел с сигаретой,
как вспыхивает спирт – вот так глядит мороз
и плещет голубым, на кровле непрогретой
наращивая соль земли, морей и слёз.

Твоя звезда – с кулак, и тоже пахнет солью,
как кровь твоя, в тебе нашедшая тупик.
Душа хотела стать звездой, а стала болью,
в которую вошла, как музыка в язык.

«В полуслезах, в полубреду…»

В полуслезах, в полубреду
с подземной музыкой иду
к другой – неслыханной, небесной —
оборонять свою беду
и слушать ангелов во льду…

Мне хорошо в твоём аду
молчать над бездной.

Из цикла «Елене»

I

Убивал. Великолепил.
Забывал. Кричал во сне.
Твои губы сжаты в пепел —
в сердце, сжатое во мне.

Прозреваю. Вырываю
взгляд из глаза своего,
чтоб обуглилось по краю
нашей жизни вещество.

Чтобы жгло окно в конверте
белом, снежном, голубом.
Что мне делать после смерти,
к чьей руке прижаться лбом…

В недочитанном романе
два забытых мертвеца:
я и ты – в чужом тумане,
снящаяся без лица.

II

Ищу тебя. Иду по краю,
где льёт луна, где льёт левша.
Левее – к сердцу. Пропадаю.
Сначала тень. Потом душа.

Во мне зима. Она сквозная.
И я везде. К чему спешить.
Как будто умер я, не зная,
как эту вечность пережить.

VII

Курю в больничном туалете,
тайком, почти на этом свете,
где лампочка из-за угла
беднее зимнего тепла,

где мёртвые ладошки моли,
черпнувшие чрезмерной боли,
навстречу машут дураку
и сыплют пепел на башку…

VIII

Ангел плюнет в потолок —
ох, больничный, ох, высокий.
Недолёт. И мотылёк
опадает одинокий,
белый, серый, голубой,
даже палевый немножко…

И глядит, глядит в окошко
жизнь с закушенной губой.

IX

Мышка больничная, жизнью шурша,
ищет пожрать. Зачесалась душа
у тишины, темноты, немоты,
шторок, прикрывших квадратные рты,
чтобы беззвучно крича, не вспугнуть
смерти немного и хлеба чуть-чуть,
капельку света откуда-нибудь…

Ангелу ночью очей не сомкнуть.

XI

Когда я умер, стало мне
понятно всё: в каком огне,
во сне, в окне, в каком бреду
куда я, Господи, иду.

Когда я умер, ты прошла
тропою пекла и тепла
по мне, по мне, по мне, по мне,
по мне – во сне, в окне, в огне…

XIV

Прощай. Что было – не прошло.
И не продёт. И вечно будет.
Оно тебя ещё разбудит
и в окнах выставит стекло,
и поползут из крупных слёз
ночных светил дневные лица…

Обыкновенный снег ложится
на деревянный снег берёз.

Из третьей книги

«Я знаю эту дрожь…»

Я знаю эту дрожь.
Очей не закрывая —
и ты, земля, умрёшь,
бессмертная, живая.
И сквозь твои персты
пройдут пески и воды,
и небо пустоты,
и небо непогоды,
последняя слеза
без боли и печали,
которую глаза,
как мир, не удержали.

«Где-то глаза кочуют…»

Е.

Где-то глаза кочуют,
думаю, в вышине.
Ангелы в нас ночуют,
прямо в хорошем сне.

Спи, говорю, родная,
очи закрой – и спи,
медленно поднимая
солнце в чужой степи.

«Где очень больно, там светло…»

Е.

Где очень больно, там светло,
а здесь темно и не бывало.
Я спал и думал: всё прошло,
а оказалось – всё пропало.

Удушье снов, удушье слёз —
до немоты и полной муки

произносить большой мороз
и в нем клубящиеся звуки.

У этой музыки твои
зрачки сиреневые… Боже,
и ледяные соловьи
без оперения и кожи…

«В стену горох, в стену горох…»

В стену горох, в стену горох,
ливень в последней своей прямизне.
Это не птица защёлкала – бог
заговорил во сне.

Трогаю капли, на пальцах коплю,
складываю в ладонь.
Всё, что люблю, всё, что люблю, —
это вода и огонь.

«Стукнет с небес дубинка…»

Е.

Стукнет с небес дубинка
в бочку. И – боже мой —
сохнет твоя рябинка,
брошенная тобой.

Не с высоты полёта
ангела, а с земли
видно: твоя работа,
след от твоей петли.

Ливень оплетью длинной
вытянет месяц май.

Ночь просижу с рябиной:
только не умирай…

«Сад напросился в дом…»

М. Никулиной

Сад напросился в дом.
Веткой открыл окно.
Что ж, посидим вдвоём,
выпьем своё вино.
Выпьем его до дна,
и – лепесток на дно:
бездна у нас одна.
Сердце у нас одно.

«К вечеру, пустившему слюну…»

К вечеру, пустившему слюну,
к вечности, успевшей удлиниться,
звери, насекомые и птицы
полную включили тишину.

Это голос Бога? – Ни гу-гу.
Или спичкой чиркнула цикада?

Хочешь, я прощу и помогу? —
Господи, не уходи из сада.

Помолюсь за Бога моего,
чтоб не плакал – вечный, одинокий…

Голос у него такой высокий,
что не слышно голоса его.

Тесно в сердце сыну и отцу —
пусть они додумают родное,
чтобы постоять лицом к лицу,
упираясь в зеркало двойное.

«Всюду Господа белые брови…»

Всюду Господа белые брови,
одуванчики и облака.
И разрывы растительной крови
в коронарных сосудах цветка.
И течение общего взгляда
с натяжением неба в реке.
Задыхаюсь. Не надо. Не надо —
сердце держит себя в кулаке,
словно главную розу, от сада
отсечённую кем-то…

«Ходит шатун-трава…»

Е.

Ходит шатун-трава.
Может быть, голова
кружится у земли —
яблони налегли
на вертикаль господню.

День-то какой сегодня?
Вторник. Сосед просох…
Чертополох. Подсолнух.
Ужас в глазах бессонных:
кто из них больше бог?..

Ясно, чертополох.

«Плачет кулик, плачет кулик…»

Плачет кулик, плачет кулик,
топчет водицу.
Я забываю русский язык —
слушаю птицу.

Холодно как. Слишком светло.
Баба в футболке
ковшиком в кадке разбила стекло —
в горле осколки.

Плачет кулик, плачет кулик,
топчет водицу.
Я забываю русский язык —
слушаю птицу.

«Птичка серая скажет мне…»

Птичка серая скажет мне:
остаёшься в своей стране —
белой, каменной, ледяной…

Полетели на юг со мной.

Отвечаю сквозь первый снег:

я не ангел – я человек,

я – земля, я из глины весь…
Я давно похоронен здесь.

«Так пасмурно, что нету небосклона…»

Так пасмурно, что нету небосклона
и некуда мечтать.
Вот лобачевская ворона:
пропала, появилась и опять
исчезла, и внезапно показалась —
и с глаз долой средь бела дня,
как будто вся во времени осталась…

Как мало времени осталось у меня.

«Нежнее инея в зверином ухе…»

Нежнее инея в зверином ухе,
сосков малиновых на сучьем брюхе —
не имя, а снежинки костный хруст
от дуновенья Бога; Божьих уст
взыскуют твёрдые уста сибирской стужи,
звезды полярной зрак становится всё уже,
всё глубже вдох, всё ближе к Богу Бог,
и в хрусталях – мертвец чертополох;
али репейник сам себя сосёт —
сосульку сладкую – и не произнесёт
никак своё большое имя смерти,
не чуя сквозь сугроб чугунной тверди.

«Маленький человек…»

Маленький человек,
мальчик – щека в песке:
глина у нас, как снег,
тает сама в руке.

Если тебе не лень —
вылепи воробья…

Ангел отбросил тень —
Господи, это я.

«Буду водой стоять…»

С.

Буду водой стоять
к дамбе лицом – и течь
в шлюзы за пядью пядь,
так распыляясь в речь,
так испаряясь весь,
чтоб Иисус босой,
если вернётся, здесь
ноги омыл росой.

«Ты в воду посмотришь – потом из воды…»

Е.

Ты в воду посмотришь – потом из воды:
твой взгляд голубые оставит следы
на небе, водой отражённом,
на небе, травой окружённом.

Ты в воду смотрела, как смотрят в неё,
взыскуя грядущего. Это питьё
осталось на пальцах от Бога —
немного, ты знаешь, немного.

Ты трогала каплю – не узел, а связь —
куда она делась, откуда взялась —
и дула на воду, сквозь слёзы смеясь,
и дула, как после ожога.

«Живой и мёртвый, с вечностью во рту…»

Живой и мёртвый, с вечностью во рту,
где прямо с неба оды пьёт Гораций,
где зренье продувает пустоту
до обморока, до галлюцинаций, —
живой и мёртвый, здесь я говорю
о том, что я ещё с тобой побуду, —

так говорю земле и снегирю,
а значит – ангелу и чуду.

«Под крышкой пусто. Нет, под нею…»

Е. Шароновой

Под крышкой пусто. Нет, под нею
подвал и пыль похмельных дней.
Пустой кувшин поёт сильнее,
и заунывней, и страшней.

Пока вино бредёт оттуда,
где дремлет жизнь, издалека,
и проливается, как чудо,
из красной пасти черпака.

И чем полней, тем глубже, глуше
звучит кувшин в конце концов,
как неприкаянные души
одетых в глину мертвецов.

«Зимы короткий век…»

С.

Зимы короткий век —
светло, тепло и зябко.
И шмякается снег
с ветвей, как на пол тряпка.

Как пить сугробу дать —
погода золотая.
Упало капель пять
с навеса. И шестая.

И тот, кому не лень
считать, он знает что-то,
что удлиняет тень
до бездны поворота

дороги…

«Есть нитка золотая, есть игла…»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.